

«Я НЕ МОГУ УЗНАТЬ СЕБЯ, СКАЖЕМ,
НИ В ОДНОЙ СТРОКЕ БАРАТЫНСКОГО...»:
Цветаева и Баратынский

РОМАН ВОЙТЕХОВИЧ

Цитата, вынесенная в заглавие нашей работы, — едва ли не единственное прямое высказывание Цветаевой о своем отношении к творчеству Е. А. Баратынского. И это отношение не может не удивлять по целому ряду причин. Самая косвенная, но одновременно и самая актуальная для читателей начала XXI в. — парность этих имен в поэтической биографии Иосифа Бродского — одного из самых последовательных апологетов Цветаевой: сильнейшим побуждением к занятиям поэзией Бродский называл знакомство со стихами именно этих двух авторов [Рейн, Бродский: 41; Волков: 66]. Другим источником нашего недоумения является противоречие с тем известным фактом, что Цветаева увлекалась эпохой романтизма, творчеством А. С. Пушкина и близким к нему кругом авторов: от В. А. Жуковского до М. Ю. Лермонтова и Ф. И. Тютчева, не говоря уже о европейских поэтах [Цветаева 1994–1995: IV, 621–624]. Нельзя, наконец, не видеть и определенных черт сходства между поэзией Баратынского и поэзией Цветаевой: проблематика поэзии Цветаевой близка традициям «поэзии мысли», к которой исследователи относят в первую очередь стихи Баратынского и Тютчева [Гинзбург: 51–126].

Детальное рассмотрение всех упоминаний Баратынского у Цветаевой и явных цитат из него позволяет, по крайней мере, скорректировать разбираемое утверждение, а знание цветаевской риторической стратегии заставляет сделать серьезную поправку на категоричность. Как правило, Цветаева в развернутом высказывании всегда находила серьезные контраргументы самым запальчивым из своих деклараций: в ее творчестве это становится одним из композиционных принци-

пов (визитной карточкой может служить построение стихотворения «Попытка ревности», 1924). Каждую истину Цветаева отстаивает до конца, но, как правило, дополняет ее прямо противоположной, эффектно предъявляемой в финале рассуждения. Цветаева не исходит из двойственности и не приходит к ней, но с помощью своих парадоксов она показывает многомерность того явления, о котором говорит. Такая парадоксальность (две «правды») для Цветаевой предпочтительней компромиссной полуправды или декадентской всеядности: ее «правды» всегда конфликтуют. Но не всегда эта диалектика очевидна, и читатели обманываются, абсолютизируя то или иное высказывание Цветаевой, часто — вопреки всем остальным ее утверждениям.

К высказыванию о Баратынском, сделанному мимоходом, она таких опрокидывающих уточнений не сделала, но мы можем попытаться представить себе эти уточнения, по крайней мере, реконструировать возможную «доказательную базу» контраргументации, впрочем, как и аргументы в защиту приведенного тезиса. Это необходимо для того, чтобы не сбрасывать влияния Баратынского со счетов при описании генезиса цветаяевского творчества. До сих пор этим влиянием никто всерьез не интересовался: исследований на эту тему мы не знаем.

Рассмотрим весь корпус явных отсылок к Баратынскому и ближайший контекст. Начнем, однако, не с упоминаний, а с красноречивого «молчания» в имеющихся автобиографических анкетах 1926 и 1940 гг. Ни в одной из них имени Баратынского нет: ни среди актуальных увлечений, ни среди увлечений детства и юности. В анкете 1926 г. из близких к Пушкину Цветаева отдает должное только Жуковскому и Лермонтову, да и то — скупое. Но чем дальше отстоят авторы от Пушкина, тем их рейтинг становится выше: любимыми поэтами называются Г. Р. Державин и Н. А. Некрасов, крупнейшие поэты своей эпохи непосредственно до и после Пушкина [Цветаева 1994–1995: IV, 622].

Упоминания, цитаты и реминисценции позволяют думать, что Цветаева знала Н. М. Карамзина, К. Н. Батюшкова, Д. В. Давыдова, П. А. Вяземского, Ф. Н. Глинку, В. Г. Бенедиктова,

А. А. Дельвига, Ф. И. Тютчева (не говоря уже о И. А. Крылове), но никого из них не упомянула. Возможно, она не хотела составлять из них свою поэтическую родословную с установкой на «пушкинский канон». Ей нравится Пушкин, но не «пушкинское». Это характерно для Цветаевой: она отделяет Ницше от «ницшеанства», Штейнера от «штейнерианства», Пушкина от «пушкиньянцев» (ср. «Бич жандармов, бог студентов...», 1931). Возможно, Баратынский «отвергался» Цветаевой именно из-за того, что оказался слишком близок к Пушкину, ближе, чем все остальные, и стилистически, и хронологически. Именно поэтому Цветаевой так важно было подчеркнуть разницу, возвести ее на принципиальную высоту.

Заметим, что изначально Цветаева не должна была иметь никаких предубеждений против Баратынского. Судя по всему, этот автор был хорошо известен в ее доме. И. В. Цветаев, который любил иногда процитировать что-нибудь из русской классики (Лермонтова, Некрасова и пр.), цитировал и Баратынского. Один из его учеников вспоминал, как после открытия Музея И. В. Цветаев «шепотком, немножко стесняясь» читал стихотворение Баратынского «На смерть Гете» и, дойдя до слов

Почил безмятежно, зане совершил
В пределе земном все земное! —

сказал: «А знаете, я сейчас переживаю это про самого себя. Я совершил все, что мог» [Выставка: 30]. Этот случай произвел на всех присутствующих огромное впечатление.

За два года до этого, в 1910 г., Цветаева имела свой собственный повод пережить увлечение Баратынским. Видимо, Баратынского любил и цитировал, по крайней мере в момент решительного объяснения, В. О. Нилендер, «первый» возлюбленный Цветаевой. В стихотворении «Последняя встреча» (сб. «Волшебный фонарь») об этом говорится так:

Тишина посылается роком, —
Тем и вечны слова, что тихи.
Говорил он о самом глубоком,
Баратынского вспомнил стихи [Цветаева 1994–1995: II, 124].

Увлечение Нилендера Баратынским было известно А. И. Цветаевой: в 1990 г. она купила томик Баратынского (Баратынский Е. А. Стихотворения. М.: Детгиз, 1989) в память о Нилендере и оставила на нем соответствующую запись: «Себе на Рождество — в память о В. О. Нилендере, нашей первой любви с Мариной к нему, его любви к Баратынскому и Марининых строк: “... Говорил он о самом глубоком, Баратынского вспомнил стихи...<”> 4 день Рождества. 10. 2. 1990 г. А<.> Цветаева» [А. Цветаева–Антокольский: 57–58].

А. И. Цветаева вспоминала, что в 1910 г. сестра часто слушала патефонную пластинку с записью романса М. И. Глинки на стихи Баратынского — «Разуверение» (1821, «Не искушай меня без нужды...»): «Маринин певческий зверь звался странным новым словом “патефон” <...> Зверь пел Эоловым голосом, прося, чтобы кто-то не искушал его, и уговаривал волнения страсти, чтобы они унялись <...>» [А. Цветаева: I, 577].

Этот романс, вероятно, так часто исполнялся в доме Цветаевой, что его комически обыгрывал С. Я. Эфрон. В августовской записи 1913 г. после перечня хозяйственных распоряжений он пишет:

Уж я не верю увереньям,
Уж я не верую в любовь,
И не могу предаться вновь
Раз изменившим сновиденьям
Слепой тоски моей не множь,
Не заводи о прошлом слова
О друг заботливый больнова
В его дремоте не тревожь.

Милая дорогая Марина — я Ваш <рисунок головы льва> преданный<.> Прощайте [Цветаева 2001–2002: I, 141–142].

В 1928 г. (ок. 11 марта) Цветаева записывает:

В моей душе одно волненье,
А не любовь пробудишь ты
Волненье: т.е. на белой стене дня — белую и черную тень любви [Цветаева 1997: 385].

Тот же романс Цветаева припоминает и в «Повести о Сонечке» (1937):

— Это мой граммофон, Сонечка, он все умеет. Володечка, переверните пластинку.

Оборот пластинки был — «Не искушай меня без нужды» Глинки, одна скрипка, без слов, но с явно <...> слышимыми бес- смертными баратынскими.

— Марина! Я и это знаю! Это папа играл — когда еще был здоров... Я под это — всё раннее детство засыпала! <...> и как чудно, что без нѹжды, потому что так в жизни не говорят, так только там говорят, где никакой нѹжды уже ни в чем — нет, — в раю, Марина! [Цветаева 1994–1995: IV, 362].

Таким образом, по крайней мере, одно стихотворение Баратынского Цветаева регулярно вспоминала и любила. Не исключено, что оно напрямую ассоциировалось для нее с ситуацией неудачной первой любви. Несомненно, В. О. Нилендер был разочарован в брачных отношениях и воспринимал свое чувство к М. И. Цветаевой как искушение, что видно из последней опубликованной редакции воспоминаний А. И. Цветаевой. Видимо, Цветаева не была готова к половинчатым отношениям и со своей стороны сделала решительный шаг к разрыву.

В ряде стихотворений Баратынского (например, в «Признании») прослеживается тот же мотив искушения и нежелания ему поддаться. В координатах поэтического мира Цветаевой этой позиции соответствовало амплуа Гамлета, у которого кровь «с примесью мела / И тлена» («Офелия — в защиту королевы», 1923): он не способен на настоящую любовь [Цветаева 1994–1995: II, 171]. Несомненно, сочетание «Гамлет–Баратынский» было памятно Цветаевой по пушкинскому «Посланию Дельвигу». В поэтической мифологии Цветаевой Гамлету соответствует поэт, лишенный наития «стихий», то есть вдохновения. Таким Цветаева изображала В. Я. Брюсова, следуя его же собственному «сальерианскому» мифу о себе. Не случайно Брюсов проецировал свой образ и на Баратынского¹.

¹ Ср. в эссе «Герой труда» (1925): «Брюсов в мире останется, но не как поэт, а как герой поэмы. Так же как Сальери остался — твор-

Не исключено, что эта проекция не прошла мимо внимания Цветаевой.

Себя Цветаева видела совсем иной: поэтом, притягивающим стихии и создающим свой мир в ходе противоборства им (наиболее четко это сформулировано в трактате «Искусство при свете совести»)². Формула Лермонтова «а он, мятежный, просит бури» (при всей неоднозначности отношения Цветаевой к Лермонтову), несомненно, отвечала одной из сторон поэтологического идеала Цветаевой. Между тем, Баратынский отнюдь не чужд сходных стремлений, и более того, «Завыла буря; хлябь морская...» (1824) весьма напоминает «Парус» Лермонтова: «Так ныне, океан, я жажду бурь твоих!» [Баратынский: 123]. Здесь есть и мятежный «злостный дух», который угадывается в подтексте «Паруса», и отсутствие прямой цели — погони за счастьем: «Но знай: красой далеких стран / Не очаровано мое воображенье...». Эта параллель не отмечалась, но связь генезиса Лермонтова с поэзией Баратынского считается несомненной и многообразной [Тойбин: 49].

Но для Цветаевой, по-видимому, важнее была другая сторона поэзии Баратынского — та, которую можно назвать «гамлетовской» в клишированном понимании: нерешительность, половинчатость, недоверие к своему дару: «Мой дар убог, и голос мой негромок...» [Баратынский: 144]. Эта фраза противоречит всей мифологии Цветаевой, в рамках которой убогим может быть только сам поэт в своей человеческой ипостаси, но не его дар, принятый свыше и влекущий ввысь.

ческой волей Пушкина» [Цветаева 1994–1995: IV, 62]. Ср. замечание Брюсова: «Позднейшая критика прямо обвиняла Баратынского» в зависти к Пушкину и высказывала предположение, что Сальери Пушкина списан с Баратынского» [Брюсов: 177].

² «Гений: высшая степень подверженности наитию — раз, управа с этим наитием — два. Высшая степень душевной разъятости и высшая — собранности. Высшая — страдательности и высшая — действительности. Дать себя уничтожить вплоть до какого-то последнего атома, из уцеления (сопротивления) которого и вырастет — мир» [Цветаева 1994–1995: V, 348].

В процитированном стихотворении Баратынского автор рассчитывает на узкий круг понимающих, тогда как Цветаева считала себя достаточно понятной широкому читателю, «народу»³, и не могла без горечи читать то, что писал о ней Вс. Рождественский в 1923 г.: «Марина Цветаева — поэт для немногих, удел хотя и горький, но достойный. Это — путь Дельвига, Баратынского, Тютчева, Иннокентия Анненского и Владислава Ходасевича» [Критика: 144]. При всем уважении к перечисленным поэтам Цветаева просто не считала себя близкой этому кругу авторов (за исключением, может быть, Тютчева), а к В. Ф. Ходасевичу у нее к этому времени уже назрела неприязнь. Между тем на сходство Ходасевича с Баратынским указывал Андрей Белый⁴.

Тематика Цветаевой в начале 20-х гг. сместилась в сторону «пророческих» романтико-символистских тем, где она вступала с Ходасевичем в конкуренцию. Например, книга Цветаевой «Психея» перекликалась с циклом стихотворений Ходасевича о Психее, который также был выпущен в виде книги, хотя и рукописной [Богомолов, Шумихин: 127]. Однако мифология этих образов у Ходасевича и Цветаевой сильно отличалась, и еще сильнее отличалась стилистика. «Сивиллины слова» Цветаевой [Цветаева—Чирикова: 13] оказались близки к стилю авангардных направлений.

В одном и том же номере «Современных записок» был опубликован полный парадоксов цикл Цветаевой «Бог» [СЗ:

³ Ср. в письме к Б. Л. Пастернаку от 26 мая 1925 г.: «А ты меня будешь любить *больше* моих стихов (— Возможно? — да). *Народ* больше, чем Кольцова? Так вот: мои стихи — это Кольцов, а я — народ. Народ, который никогда себя до конца не скажет, п. ч. конца нет, неиссякаем» [Цветаева—Пастернак 2004: 111].

⁴ Цветаевой было известно, что в статье «Тяжелая лира и русская лирика» (Современные записки. 1923. № 15) А. Белый поставил Ходасевича в один ряд с Пушкиным, Баратынским и Тютчевым [Цветаева 1994—1995: VI, 543]. Позднее именно в «Верстах», издаваемых С. Я. Эфроном Святополк-Мирский назвал Ходасевича «маленьким Баратынским из Подполья» и «любимым поэтом всех тех, кто не любит поэзии» [Мирский].

143] и стихотворение Ходасевича «Жив Бог! Умен, а не за-умен...» [СЗ: 140], которое Цветаева сочла памфлетом на себя и Пастернака:

Заумно, может быть, поет
Лишь ангел, Богу предстоящий, —
Да Бога не узревший скот
Мычит заумно и ревет [Ходасевич: I, 249].

В письме к А. В. Бахраху от 25 июля 1923 г. Цветаева не сдержалась: «“Богу предстоящего” я всегда предпочитаю человеку, а Х-вич (можете читать Хвостович!) вовсе и не человек, а маленький бесенок, змеёныш, удавёныш» [Цветаева 1994–1995: VI, 579].

Цветаева не хотела, чтобы ее считали поэтом мысли, поскольку попадала, как ей казалось, в чужой лагерь, и суть проблемы была не в неприязни к мысли, которую Цветаева, безусловно, ценила, а в нарушении ее представления об иерархии и органичности поэтического творчества, где разум отнюдь не занимал главенствующую позицию, по крайней мере — не должен был изначально подавлять стихийной стороны творчества; он должен быть только «усмирителем» их на завершающем этапе творческого акта.

Косвенно Цветаева выразила свое отношение этого времени к Баратынскому в «Цветнике» из цитат Г. В. Адамовича, приложенном к статье «Поэт о критике» (1926). По замыслу автора, подборка демонстрировала непоследовательность и вздорность суждений критика:

О Пушкине и о Тютчеве

(Автор только что говорил о насыщенности Баратынского.)

У Пушкина и Тютчева отдельные гениальные строки переплетены, скреплены строками пустыми и незначительными, образы редкие, точные смешаны с образами «приблизительными». Их искусство держится на вспышках, и эти вспышки ослепляют [Цветаева 1994–1995: V, 298].

Видимо, по мнению Цветаевой все обстояло прямо противоположным образом: это у Баратынского были «вспышки» (то

же «Разуверение»), преобладали же строки «пустые и незначительные».

Действительно, если вспомнить авторское предисловие к «Эде», Баратынский имел сознательную установку на приглушенность красок:

Сочинитель чувствует недостатки своего стихотворного опыта. Может быть, повесть его была бы занимательнее, ежели б действие ее было в России, ежели б ход ее не был столько обыкновенен, одним словом, ежели б она в себе заключала более поэзии и менее мелочных подробностей. <...> в поэзии две противоположные дороги приводят почти к той же цели: очень необыкновенное и совершенно простое <...>. Он не принял лирического тона в своей повести, не осмеливаясь вступить в состязание с певцом «Кавказского пленника» и «Бахчисарайского фонтана». <...> следовать за Пушкиным ему показалось труднее и отважнее, нежели идти новою собственною дорогою» [Баратынский: 326].

Баратынский избрал путь «совершенно простого», отдавая должное яркости Пушкина, но в современной ситуации стилистическая и образная «простота» Баратынского оказалась неожиданно в большом почете у эмигрантской критики, а романтическая и авангардная (и, вероятно, «московская») яркость порицалась. Видимо, Цветаева полагала, что Баратынский мог служить аргументом в пользу охранительного «пушкинизма», но против самого Пушкина как новатора, экспериментатора и т.п., что отразилось позднее в ее «Стихах к Пушкину», где Пушкин был назван «самым крайним» из поэтов.

Цветаева бунтовала против «золотой середины» и умеренности. Примечательно, что Цветаева отказывалась видеть «меру» (которую воспринимала именно как «умеренность») даже у авторов французского классицизма. О. Е. Колбасина-Чернова вспоминала:

Марина отрицает в искусстве «аполлоническое начало», как и «золотое чувство меры». «А французская литература, которую вы любите, — сказала я, — с ее точной мерой?»

— Оставьте, Расин и тем более Корнель, какая же мера? С их преувеличением чувств? Всепоглощающим Молохом — долгом,

ломающим жизни, как некий ледяной идол с огненным нутром, поглощающий жертвы. Это ли мера [Воспоминания: 78–79].

Между тем не только Вс. Рождественский, но и Пастернак приходил в Цветаевой общее с Баратынским. 22 февраля 1927 г. он писал ей:

Мысль, т.е. самый шум «думанья», настолько порабощена в тебе поэтом, что кажется победительницей. Кажется, ей никуда еще не падалось так радостно и вольно, как в твои до последней степени сжатые и определенные строчки. Твои поэтические формулировки до того по ней, до того ей подобны, что начинает казаться, будто она сама (мысль) и есть источник твоей бесподобной музыки. <...> это то, о чем мечтал <...> Баратынский. Все это, я знаю, не понравится тебе [Цветаева–Пастернак: 313–314].

Запоздалым ответом на эти слова Пастернака и звучат строки из статьи о Николае Гронском «Поэт-альпинист» (1934): «Я не могу узнать себя, скажем, ни в одной строке Баратынского, зато полностью узнаю себя в Державинском “Водопаде” — во всем, вплоть до разумности замечаний о безумии подобных видений» [Цветаева 1994–1995: V, 458]. Упрямство Цветаевой проявляется и в том, что упоминание державинского «Водопада» не могло не напомнить о «Водопаде» Баратынского, в котором опять же — нельзя не усмотреть сходства со стихами Цветаевой периода «сивиллиных слов»:

Зачем, с безумным ожиданьем,
К тебе прислушиваюсь я?
Зачем трепещет грудь моя
Каким-то вещим трепетаньем?
Как очарованный стою
Над дымной бездною твоею
И, мнится, сердцем разумею
Речь безглагольную твою [Баратынский: 85].

Тема толкования языка природы, пророчества сивиллы, объясняющей приметы и символы, явленные в голосе ручьев (цикл «Ручьи»), беге облаков (цикл «Облака»), шуме деревьев (цикл «Деревья») и т.д., — одна из сквозных тем книги Цветаевой «После России» (1928), особенно стихов 1922–1923 гг. Лири-

ческая героиня Цветаевой — аналог пушкинского пророка, который говорит о себе: «И внял я неба содроганье, / И горный ангелов полет, / И гад морских подводный ход, / И дольней лозы прозябанье» [Пушкин 2: 304]. Но одновременно она следует и Баратынскому, в том числе и синтаксически. Ср. («Каким наитием...», 1923):

Каким наитием,
 Какими истинами,
 О чем шумите вы,
 Разливы лиственные?
 Какой неистовой
 Сивиллы таинствами —
 О чем шумите вы,
 О чем беспамятствуете? [Цветаева 1994–1995: II, 148]

Заметим, что «плеск» листвы сравнивается с журчанием потока, а в цикле «Ручьи» (1923) уже прямо говорится о пророчествах воды:

Прорицаниями рокоча,
 Нераскаянного скрипача
 Риссисата'ми... Разрывом бус!
 Паганиниевскими «добьюсь!» <...>
 Страдивариусами в ночи
 Проливающиеся ручьи [Там же: 195].

Этот тематический комплекс оказывается связан для Цветаевой с Гете. Возможно, один из ее подтекстов – раннее стихотворение Гете «Песнь о Магомете» (1773), где ручей также наделяется пророческими функциями. В цикле «Деревья», как и позднее в цикле «Куст», язык природы связан с мудростью Гете. Так, в «Деревьях» сбросивший листву осенний лес «просвечивает» иной жизнью (в деталях которой угадываются библейские сюжеты) и уподобляется просветлению мудрого старца Гете:

Над тихою заводью дней
 Как будто завеса
 Рванулась — и грозно за ней...

Как будто бы сына
Провидишь сквозь ризу разлук —
Слова: Палестина
Встают, и Элизиум вдруг...

Струенье... Сквоженье...
Сквозь трепетов мелкую вязь —
Свет, смерти блаженнее
И — обрывается связь.

<...>

Осенняя седость.

Ты, Гётевский апофеоз! [Цветаева 1994–1995: II, 146]

Гете устойчиво вспоминается Цветаевой в связи с темой пророчеств и языка природы. В этой связи нельзя не вспомнить того самого стихотворения, которое цитировал И. В. Цветаев на открытии своего музея, — «На смерть Гете»:

С природой одною он жизнью дышал:
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье;
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна [Баратынский: 174].

Перед нами все тот же устойчивый топос, объединяющий образ пророка со сверхчувственным восприятием и пониманием языка природы. Этот отрывок теснейшим образом перекликается с текстом пушкинского «Пророка», а метрическими ассоциациями отсылает к «Вещему Олегу» и «Графу Габсбургскому» Жуковского, где эта тема также по-своему преломилась [Немзер: 221–230].

Как видим, в некоторых строках Баратынского Цветаева непременно должна была узнать если не себя, то любимых Пушкина и Жуковского. Заметим в заключение, что после смерти Андрея Белого Цветаева примирилась с Ходасевичем. 19 июля 1933 г. она писала В. В. Рудневу: «Все это потому, что нашего полку — убывает, что поколение — уходит, и меньше возрастное, чем духовное, что мы все-таки, с Ходасевичем, <...> по слову Ростана в передаче Щепкиной-Куперник: — Мы из одной семьи, Monsieur de Bergerac!» [Цветаева]

ва 1994–1995: VII, 445]. А в Москву из Франции Цветаева привезла лишь избранную часть своей библиотеки, и среди этих книг был томик стихов Баратынского⁵.

ЛИТЕРАТУРА

- А. Цветаева: *Цветаева А. И.* Воспоминания: В 2 т. М., 2008.
- А. Цветаева–Антокольский: Гений памяти: Переписка А. И. Цветаевой и П. Г. Антокольского. М., 2000.
- Баратынский: *Баратынский Е. А.* Полн. собр. стихотворений. Л., 1989.
- Богомолов, Шумихин: *Богомолов Н. А., Шумихин С. В.* Книжная лавка писателей и автографические издания 1919–1922 годов // Ново-Басманная, 19. М., 1990. С. 84–130.
- Брюсов: *Брюсов В. Я.* Баратынский Е. А. // Новый энциклопедический словарь. Пг., [Б. г.]. Т. 5.
- Волков: *Волков С.* Диалоги с Иосифом Бродским. М., 2007.
- Воспоминания: Марина Цветаева в воспоминаниях современников: Годы эмиграции. М., 2002.
- Выставка: Марина Цветаева: Поэт и время. Выставка к 100-летию со дня рождения. 1892–1992. М., 1992.
- Гинзбург: *Гинзбург Л. Я.* О лирике. М.; Л., 1974.
- Критика: Марина Цветаева в критике современников: В 2 ч. М., 2003. Ч. 1.
- Мирский: *Святополк-Мирский Д.* Кн. «Современные записки» (I–XXVI. Париж 1920–1925 гг.). «Воля России» (1922, 1925, 1926 гг. № I–II. Прага) // Версты. 1926. № 1. С. 206–210.
- Мнухин: *Мнухин Л. А.* Итоги и истоки: Избр. ст. Королев, 2008.
- Немзер: *Немзер А.* «Сии чудесные виденья...»: Время и баллады Жуковского // Зорин А., Немзер А., Зубков Н. Свой подвиг свершив... М., 1987.
- Пушкин: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1977–1979.
- Рейн, Бродский: *Рейн Е., Бродский И.* Человек в пейзаже // Арион. 1996. № 3.
- СЗ: Современные Записки. Кн. XVI. 1923.

⁵ «Список книг, подготовленных ею к продаже, сохранился и находится в Российском государственном архиве литературы и искусства в Москве. Перечень включает в себя 10 русских книг (Пушкин, Баратынский, Щеголев, К. Павлова, Фет, “Крылатые слова” и др. <...>» [Мнухин: 57].

- Тойбин: *Тойбин И. М. Баратынский* // Лермонтовская энциклопедия. М., 1981.
- Ходасевич: *Ходасевич В. Ф. Собр. соч.*: В 4 т. М. 1996.
- Цветаева 1994–1995: *Цветаева М. И. Собр. соч.*: В 7 т. М., 1994–1995.
- Цветаева 1997: *Цветаева М. И. Неизданное. Сводные тетради.* М., 1997.
- Цветаева 2001–2002: *Цветаева М. И. Неизданное. Записные книжки.* В 2 т. М., 2000–2001.
- Цветаева–Пастернак: *Цветаева М., Пастернак Б. Души начинают видеть: Письма 1922–1936 годов.* М., 2004.
- Цветаева–Чирикова: *Письма М. И. Цветаевой к Л. Е. Чириковой-Шнитниковой.* М., 1997.